

---

---

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

---

---

ЭСТЕТИКА  
И ЛИТЕРАТУРНАЯ  
КРИТИКА



МОСКВА  
«ИСКУССТВО»  
1984

**Вяземский П. А.**  
В 99 Эстетика и литературная критика /Сост., вступ.  
статья и коммент. Л. В. Дерюгиной.— М.: Искусство,  
1984.—458 с.—(История эстетики в памятниках и  
документах).

В сборник вошли литературно-критические и эстетические статьи и мемуарно-биографические очерки П. А. Вяземского /1792—1878/, главы из его монографии о Фонвизине, фрагменты из записных книжек и писем. Наибольшее внимание уделяется соотношению литературы и общественной жизни, национальному своеобразию литературы и искусства, борьбе литературных направлений первой половины XIX века. Большая часть материалов в советское время переиздается впервые.

• 0302060000-82  
В \_\_\_\_\_ 10-84  
025(01)-84

ББК 83.3Р1  
8Р1

---

---

ОТМЕТКИ ПРИ ЧТЕНИИ «ИСТОРИЧЕСКОГО  
ПОХВАЛЬНОГО СЛОВА ЕКАТЕРИНЕ II»,  
НАПИСАННОГО КАРАМЗИНЫМ

---

---

I

Не знаю, пришла ли кому-нибудь в России мысль прочесть пред 24-м числом ноября истекшего года<sup>1</sup> «Историческое похвальное слово императрице Екатерине II»<sup>2</sup>, написанное Карамзиным тому без малого три четверти века. Но мне на чужбине<sup>3</sup> запала эта мысль и в ум, и в сердце. Лишенный радости присутствовать на екатерининском и всенародном празднестве, которое в минувшем ноябре торжествовал Петербург при сочувствии всей России, я хотел по крайней мере поклониться Екатерине в частном и скромном памятнике, воздвигнутом ей литературным ваятелем, художником мысли и слова.

Похвальные слова вышли ныне, как и многое другое, из употребления, но было время, когда, особенно во Франции, были они живою и уважаемою отраслью литературы; теперь место их занимают биографии и монографии.

Впрочем, дело не в форме, не в покрое, не в оболочке. Формы видоизменяются более наружно, чем существенно: иногда старые формы вовсе разбиваются; но содержание, но истинно жизненное остается неприкосновенным, если при рождении своем восприняло оно отпечаток и залог жизни и обладает внутреннею ценностью. При этих условиях, несмотря на новые требования, на прихотливость своенравного и самовластного вкуса, одним словом, несмотря на то, что можно бы назвать нравственною, духовною модою, совместницею моды материальной, всякое умственное произведение, будь то книга, картина и тому подобное, имеет свою внутреннюю жизнь: мысль, чувства, одушевляющие это произведение, переживают время свое и не утрачивают достоинства своего. Сапфир все тот же сапфир, хотя и в старинной оправе. Ценители внутреннего значения не пожертвуют им из пристрастия к внешней отделке. Напротив, истинные художники, советливые поклонники искусства, часто дорожат этим отпечатком старины. Не только приятно, но даже и нужно время от времени освежать свой вкус подобными отступлениями от воззрений и обычаев настоящего. Чувство

пресыщается и окончательно притупляется, когда оно исключительно обращено на однообразие текущего и на господствующие приемы и краски того или другого дня.

В отношении к литературе особенно полезно и отрадно возвращаться, без пристрастия и без приговора, заранее замышленного, к источникам, которые некогда утоляли и прохладжали нашу нравственную и умственную жажду.

Творение Карамзина, о котором идет речь, возбудило в нас желание сказать о нем несколько слов. Оно не просто образцовое произведение искусства; оно сверх того может удовлетворить трояким требованиям: в отношении историческом, гражданском и общежитийском. Во всех этих видах носит оно отпечаток и знамень времени своего и вместе с тем верный и глубокий отпечаток личности самого автора.

## II

Некоторые из предполагаемых преобразований и государственных попыток Екатерины, как, например, созвание депутатов со всей России<sup>4</sup>, не вполне развились и осуществились; но и сами положенные, набросанные начала, хотя не дозрели до события, не менее того оставили следы по себе.

Они и ныне не стерлись с лица русской земли. Сами собою были они уже благотворительны. Они внесли в общество новые понятия и новые стремления. Они, так сказать, перевоспитали общество или по крайней мере значительную часть его. Слова «либерализм», «гуманность», «прогресс» не имели тогда права гражданства ни в академическом словаре, ни в общем устном употреблении, но значение их, истинное и действительное, но многозначительный смысл их распространили влияние свое в безыменном еще, но не менее того плодотворном могуществе. Громки и велики были дела Екатерины, твердо вошедшие в историю и в ней сохранившиеся в полном блеске своем, в несокрушимой силе совершившихся событий. Но много было еще сил, так сказать, неочевидных, неосязательных, которыми располагала Екатерина. Эти силы запечатлелись на обществе: после временного молчания они сочувственно и ободрительно отозвались в первых годах царствования любимого ею внука, они отзываются и ныне.

Петр преобразовал, создал или подготовил новую политическую и государственную Россию. Но суровость нравов, но пробуждение умов, общая потребность в

образованности худо повиновались богатырской и самовластной руке его. Нравы не смягчались. Благородные, нравственные и умственные побуждения и стремления мало и редко прорывались из общего застоя. Общество еще не нуждалось в свете дня, в свежести живительного воздуха. Екатерина внесла в русское общество просветительные и животворные стихии, и внесла их не крутыми мерами, не насильствуя личной воли. Она, так сказать, не самодержавно просвещала общество, но чистым и женским искусством направляла она общее настроение, общее мнение. Нет сомнения, что в ней женщина много содействовала силе самодержца. В преданности воле ее много было рыцарства и воодушевления.

Она не только продолжала дело, начатое Петром, но облекла его большею законностью, округлила, смягчила пружины, которые приводили его в действие. Петр был природы суровой, многосносливой: он себя не берег, думал, что и других беречь не для чего. Он был сложения железом окованного; к вещам и людям прикасался он железною рукою. Екатерина к тем и другим приложила женскую руку, почти не менее твердую, нежели рука Петра, равно искусную и жизнедательную, но, разумеется, более мягкую и ласковую. Она умела облечь силу самодержавия приемами сочувственными, не пугающими, не оскорбляющими нравственного достоинства, нравственной независимости каждого лица. Мы здесь выхваляем Екатерину не в ущерб Петру. Петр был деятель своего времени, деятель пылкий, нетерпеливый, как будто предчувствовавший, что ему нужно спешить, нужно все перевернуть, чтобы успеть сделать все по крайней мере почин: прорубить дремучий лес и поставить вехи для означения, где, как и куда должна быть направлена задуманная им дорога. Екатерина—деятель эпохи уже более подготовленной к восприятию новых понятий, новых порядков. Крутая ломка и переделка уже были совершены Петром. Он на свою личную ответственность и на ответственность памяти о себе пред потомством принял с самоотвержением всю неблагоприятную и часто прискорбную сторону действий, которые почитал он, ошибочно или нет, нужными и необходимыми. Дорога пред Екатериною была уже расчищена: с природою бороться ей уже не было или менее потребно было, да и Европа Петра не была еще Европою Екатерины.

Благие начала, введенные Екатериною в государственном и общественном устройстве, не могли не отозваться в литературе нашей. Карамзину предоставляется честь, что

он один из первых и с большим успехом проникнут был миротворительным влиянием нового дня, восшедшего над Россией. Под этим влиянием перенес он литературу на почву новую и всем более доступную. Карамзину вообще, как приверженцами, так равно и противниками, приписывается, что он преобразовал общеупотребительный язык; раскрыл в этом орудии мысли новые качества и способности; плод этих изысканий проявил он в первых произведениях своих. Но главное достоинство его не в материальном преобразовании речи нашей, как ни велика и эта заслуга: основное, зиждительное достоинство его выражается в том, что он навеял новый дух на литературу нашу, оживил ее новыми побуждениями и направлением, нравственно согрел ее, приблизил ее к обществу и его сблизил с нею. Тут прямо выказываются влияния екатерининского времени. За сближением общества с правительством и силою законодательною неминуемо логически должно было следовать и общественное сближение с литературою, которая и должна быть выражением общества. До него литература была власть довольно суровая, мало общительная; она была сама по себе, общество само по себе. Ей поклонялись издали, уважали и чествовали ее суеверно, но равнодушно. С ним литература сделалась живою частью общества, членом общей народной семьи. И прежде, даже и ныне, были и встречались люди, которые смеялись и смеются над так называемую *сентиментальностью* его. Во-первых, эта способность умиления, это сочувствие любви к явлениям природы, к человечеству, эта, пожалуй, нервическая чуткость и чувствительность были в нем не привитые, не заимствованные: они были вполне самородные. Эти природные личные склонности и расположения могли иногда влечь за собою свои частные и временные недостатки и уклончивости. Но вместе с тем были они чистым и обильным источником живой впечатлительности его, глубокой любви ко всему прекрасному и доброму, силы ощущений и увлекательной способности живо выражать ощущения и чувства свои и передавать их другим. К тому же эта *сентиментальность* была в нашей литературе не только позволительна, но совершенно уместна и своевременна. Она была сильным и радикальным противудействием литературы чрезмерно бесстрастной и несколько сухой и безжизненной. Мягкость, мягкосердечие, проявившиеся в литературе нашей под пером Карамзина, были, без сомнения, плодом царствования Екатерины. «Письма русского путешественника» и многие другие произведения его, не

исключая даже и «Бедной Лизы», носили отпечаток этого мягкого и благорастворенного времени. Влияние его еще сильнее и явственнее выражается в «Историческом похвальном слове». Оно зрелый и сочный плод, снятый прямо с дерева. В полном сознании и с живейшим чувством Карамзин, приступая к изображению Екатерины, мог воскликнуть: «Благодарность и усердие есть моя слава. Я жил под ее скипетром, и я был счастлив ее правлением и буду говорить о ней!»<sup>5</sup> <...>

## IX

Говорить ли о языке и слоге похвального слова? Казалось бы, это было бы и лишним. А впрочем, в наше время именно может быть и не совершенно неуместным сказать о том несколько слов. Правильность, ясность, свободное, но вместе с тем последовательное и, так сказать, *образумленное* течение речи, искусство ставить каждое слово именно там, где ему быть надлежит и где оно выразительнее,—все это является здесь в изящном порядке и полной силе. Трезвость слога не влечет за собою сухости. Некоторые ораторские приемы, свойственные вообще похвальному слову, не заносятся до высокопарности. Все живо, но мерно, все одушевлено ясною мыслью и теплым чувством. Мы уже намекали, что будущий историк угадывается в некоторых местах разбираемого нами произведения<sup>6</sup>. Ныне, прочитав все похвальное слово, скажем, что оно в полном объеме есть, так сказать, проба пера, которое автор готов исключительно посвятить истории. Слог, то есть то, что прежде называли слогом, есть ныне слово и понятие, утратившие значение свое. Одни литературные старообрядцы обращают внимание на него. В наш скороспешный и скороспелый век, в век железных дорог, паровых сил, телеграфов, фотографий, мало заботятся об отделке. Все торопит и все торопятся—это хорошо! Жизнь коротка: почему же не удесятерить ценность и значение времени, если есть на то возможность? Но искусство терпит от той усиленной гонки за добычею: искусство нуждается в труде, труд требует усидчивости, а мы и трудиться и сидеть разучились. Редко кто наложит на себя обузу и епитимью просидеть несколько дней и по несколько часов сряду хотя бы перед фан-Дейком или Брюловым, чтобы иметь портрет свой во весь рост. Мы все бежим по соседству к ближайшему фотографу, который дело свое покончит в пять минут.

Посмотрите на черновые листы Карамзина и Пушкина: они, казалось бы, писали легко и от избытка вдохновения и сил, а между тем тетради перечеркнуты, перемараны вдоль и поперек. Тот и другой перепробует иногда три-четыре слова, прежде нежели попадет на слово настоящее, которое выразит вполне мысль, со всеми ее оттенками. «Да это египетская работа!» — скажут мне: Так; но египетские работы воздвигали пирамиды, переживающие тысячелетия! Правила, искусство, вкус зодчества изменились в течение времени; но любознательность и просвещенные путешественники со всех концов мира съезжаются к этим пирамидам изучать их и любоваться ими. Слог есть оправа мысли и души, он придает ей форму, блеск и жизнь. Недаром сказано, что в слогѣ выдается весь человек: каков человек, таков и слог его. В прозе Жуковский и Пушкин принадлежали школе Карамзина; но слог Жуковского не есть слог Карамзина, а слог Пушкина не есть слог Жуковского. Слог дает разнообразие и разнохарактерность таланту и выражению. Слогом живет литература. Где или когда нет слога, нет и литературы.

Если есть музыка *будущего*<sup>7</sup>, то можно сказать о языке Карамзина, что это музыка *минувшего*. Между тем этот язык не устарел, как не устарела музыка Моцарта. Могли оказаться изменения то к лучшему, то к худшему; но диапазон все-таки остается верным и образцовым. При начале литературного поприща Карамзина обвиняли его в *галлицизмах*. Мы давно где-то<sup>8</sup> сказали, что критики его ошибались. *Галлицизмы* его были необходимые *европеизмы*. Никакой язык, никакая литература совершенно избежать их не могут. Есть денежные знаки, которые везде пользуются свободным обращением: червонец везде червонец. Так бывает и с иными словами и оборотами. Есть лингвистические завоевания, которые нужны, а потому и законны. Но есть лингвистические переряжения, пестрые заплатки, которые вшиваются в народное платье. Эти смешны и только портят основную ткань.

Чтобы показать то, что мы разумеем под слогом и под искусством писать, выберем из многих мест одно, например, следующее:

«Геройская ревность к добру соединялась в Екатерине с редким прониканием, которое представляло ей всякое дело, всякое начинание в самых дальнейших следствиях, и потому ее воля и решение были всегда непоколебимы. Она знала Россию, как только одни чрезвычайные умы могут знать государство и народы; знала даже меру своим благодеяниям: ибо самое добро в философическом смысле может быть вредно в политике, как скоро оно несоразмерно с гражданским состоянием



народа. Истина печальная, но опытом доказанная! Так, самое пламенное желание осчастливить народ может родить бедствия, если оно не следует правилам осторожного благоразумия сограждан! Я напомним вам монарха, ревностного к общему благу, деятельного, неутомимого, который пылал страстию человеколюбия, хотел уничтожить вдруг все злоупотребления, сделать вдруг все добро, но который ни в чем не имел успеха и при конце жизни своей видел с горестью, что он государство свое не приблизил к цели политического совершенства, а удалил от нее: ибо преемнику для восстановления порядка надлежало все новости его уничтожить. Вы уже мысленно наименовали Иосифа<sup>9</sup> — сего несчастного государя, достойного, по его благим намерениям, лучшей доли! Он служит тению, от которой мудрость Екатерины тем лучезарнее сияет. Он был несчастлив во всех предприятиях — она во всем счастлива; он с каждым шагом вперед отступал назад — она беспрерывными шагами шла к своему великому предмету, писала уставы на мраморе неизгладимыми буквами, творила вовремя и потому для вечности и потому никогда дел своих не переделывала»<sup>10</sup>.

Здесь нельзя ни единого слова ни прибавить, ни убавить, ни переставить; но и еще пример:

«Европа удивлялась *счастью* Екатерины. Европа справедлива, ибо мудрость есть редкое счастье; но кто думает, что темный, неизъяснимый случай решит судьбу государств, а не разумная или безрассудная система правления, тот по крайней мере не должен писать истории народов. Нет, нет! феномен монархии, которой все войны были завоеваниями и все уставы счастьем империи, изъясняется только соединением великих свойств ума и души»<sup>11</sup>.

Все это так просто и ясно сказано, что читатель, не посвященный в таинства искусства, может подумать, что и каждый сумел бы так изъясниться; но дело в том, что кроме здоровой мысли здесь есть еще и здоровое выражение, плод многих и обдуманых изучений языка и свойства его.

При всей изящности языка и самого изложения должны, разумеется, встретиться в похвальном слове прикрасы чеканки, некоторые, так сказать, литературные *чинквенто*, ныне для нас странные и обветшалые. Например:

«Чтобы утвердить славу мужественного, смелого, грозного Петра, должна через сорок лет после его царствовать Екатерина; чтобы предуготовить славу кроткой, человеколюбивой, просвещенной Екатерины, долженствовал царствовать Петр; так сильные порывы благодетельного ветра волнуют весеннюю атмосферу, чтобы рассеять хладные остатки зимних паров и приготовить натуру к *теплому влиянию зефиров!*»<sup>12</sup>

Мы теперь готовы отрещиваться от этого *зефира*, от этого языческого наваждения. Но в то время *зефиры* со всей братьею, со всеми сестрами своими были добрыми домовыми литературы; и писатели, и читатели дружелюбно уживались с ними. Укорять Карамзина, что и он знался

с ними и говорил, например, в другом месте: «Земледельцы, сельской добродетелию от плуга на ступени *Фемидина храма* возведенные»<sup>13</sup>, и проч.; укорять его, повторим, в этих баснословных приемах то же, что сказать: Карамзин, говорят, был пригож в своей молодости, но жаль, что он имел несчастную привычку пудрить волоса свои. А между тем все пудрились.

Впрочем, что же тут особенно худого в этих древних преданиях, имеющих иногда глубокий смысл и всегда много поэзии? Греческое баснословие положено в основу европейского просвещения. Следовательно, слишком пренебрегать им не подобает. Величайшие умы, неподражаемые художники, красноречивейшие святые отцы более или менее воспитаны были и образовались в этой языческой школе.

Каждый век, почти каждое поколение имеют свою критику, свое литературное законодательство. Ныне, если дело пойдет на сравнение, мы почерпаем его в науках точных, в медицине, в реальном производстве, в механике, в фабричной промышленности. Все *идеальное* забраковано, заклеено печатью отвержения. Но неужели думать нам, что и мы, по выражению Карамзина, *творим вовремя, а потому для вечности?* Едва ли. Как мы многое отвергли из того, что перешло к нам от дедов, так и XX век, который уже не за горами, вероятно, отвергнет многое, чем мы ныне так щеголяем и гордимся. Нынешние страстные нововводители будут в глазах внуков наших запоздалые старообрядцы. Как знать? может быть, внуки наши если помянут старину, то перескочат чрез наше поколение и возобновят прерванную связь с поколениями, которые нам предшествовали.

Мы не говорим здесь исключительно о русской литературе: но вообще о литературе европейской.

Заметим мимоходом, что в похвальном слове ни разу не встречается слово «сословие»<sup>14</sup>, хотя, разумеется, не раз упоминается о том, что оно ныне выражает. Карамзин везде говорит: или «государственные чины», или «среднее политическое состояние», «мещанское состояние», «три государственных состояния» и так далее. В самом «Наказе»<sup>15</sup> нет этого слова. Там, например, отделение VII озаглавлено: «О среднем роде людей». «Род», конечно, нехорошо, но все же лучше, нежели «сословие». Любопытно было бы исследовать, с которого времени и с чьей тяжелой руки пущено в обращение и водворилось в нашу речь это безобразное, неуклюжее и в противность этимологии и логике составленное слово?